

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

---

ЗОЛОТАЯ  
РОЗА

# Константин Георгиевич Паустовский

## Кордон «273»

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=159426](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159426)*

*К. Паустовский «Избранное»: Радянська школа; Киев; 1984*

# Константин Паустовский

## Кордон «273»

Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу, в пустых комнатах, стучат ходики. Далеко на Оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом.

На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в средней России.

На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.

Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!

Гарибальди живет здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого «Бой при Фершампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется сла-

бо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи.

На днях я уеду в Москву – последний обитатель большого пустующего дома, – а все вещи: и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая – все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь все неизменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее.

Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палыми, покоробленными листьями. А потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны.

Цветы иван-чая промерзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроют двери. Высохший чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло, – в них все целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросят в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой.

Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас «Иногда хочется жить столько же, сколько пере-

живет этот портрет Гарибальди.

Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственно-го и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем.

Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминание сродни выдумке, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не придает пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого?

Воспоминания – это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир.

Весь этот разговор – только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в пятидесяти километрах от комнаты, где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание будет идти о реке Пре, вытекающей из Великих озер.

Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию узкоколейки. Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса.

Как всегда, начался спор: что это – Юпитер или какая-нибудь другая звезда? Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечнями – над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность и прохладу ночи.

В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнем лица пассажиров.

Рядом сидела девочка лет двенадцати в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза ее блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата – директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной – название ее она позабыла, – где «к карете привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тетенок в гости».

– А ты видела картину про композитора Глинку? – неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.

– Должно, видала. Только у меня в голове Еве переболталось, и я уже не помню.

– А чья музыка к этой картине? – строго спросил тот же голос. – Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опе-

ра «Хованщина» с музыкой замечательной. Так ее написал композитор Мусоргский. Это молодежи следует знать.

– Где там знать! – ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком. – Всего не перзнаешь. Моготы не хватит.

– Пустые слова!

– Вот вы говорите, – лукаво сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшийся, – про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай...

– С кем это – с ним?

– Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в запрошлый год было огромное. Ока разлилась на семь километров. Ночи, конечно, черные. Такая темнота – никаким глазом ее не просверлишь! А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор в лугах. Да так крепко: три недели тащили-тащили, стащить не смогли. Так он и обсох на лугах. Год простоял, до нового разлива. Только полый водой его и подняло.

– Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное, – сказал знаток композиторов. – Со сна ты, что ли, бормочешь?

– Верно говорит! – закричал из темноты молодой голос. – Выл такой случай с пароходом «Композитор Мусоргский». Я сам видал. Стоит в лугах пароход, а вокруг него разные цветы цветут. Прямо смех!

– Кому смех, – пробормотал старик, – а рулевой заработал на этом деле судебный приговор.

– За дело! – сказала женщина с мешком лука. – Не губи пароход! Им, мужикам, когда напьются, все трын-трава. Пароход небось машина государственная. А он, пьяный вахлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных!

– Нынче пьяный в редкость, – примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая цыгарку. – Нынче пьяного у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче.

– За других не скажу, а я свои трудодни соблюдаю, – тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком; стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.

– Твой лук? С усадьбы?

– Ну да, мой. Личный.

– На ярмарку, что ли, везешь? В Клепики?

– На ярмарку.

– То-то я гляжу, – заметил знаток композиторов, – что полон вагон цыган. Тоже в Клепики на ярмарку тянут.

– Ой, красавец ты писанный! – пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить. – – Весь наш табор – всего шесть человек. А тебе уже тесно...

Свет спички осветил синие волосы цыганки.

– Наша жизнь кочевая, – вздохнула цыганка. – Она как сон: сызнава никогда не приснится.

– Удивительный народ! – тихо сказал знаток композито-



ров и наклонился ко мне: – Еду я как-то в Сасово. Весь вагон – битком, и все с тяжеленными мешками. А рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка! Вещей у нее никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка эта самая развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку, – и та затихла, начала цветком играть.

– Любовь имеют к таким предметам, – заметил старик.

Цыгане вышли на площадку, поговорили о чем-то, и неожиданно низкий женский голос запел так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытую

Как цветок голубой среди снежных полей,  
Я увидел твою красоту...

Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал, белея, туман.

По тому, как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне – кто бы он ни был: пильщик ли, колхозный ли конюх, девочка в розовом платье или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему, – нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с

нею.

– Да, – сказал конюх, когда цыганка перестала петь, – была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка...

Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка.

Мы сошли поздней ночью на полустанке Летники. По краям дороги слабо шумел березовый перелесок. С болот волнами наносило холод.

Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесами, зарождалась заря. И на этой смутной заре еще пронзительнее, чем ночью, пылала звезда.

С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье.

Когда совсем рассвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды.

– Совершенно нестеровская Россия, – сказал вполголоса кто-то из нас.

Мы привыкли говорить «левитановские места» и «нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего

плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, может быть оттого, что каждая встреча с этими местами – вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков.

С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь.

Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами.

Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала *a* глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращурьы бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых.

Медленно поднялось большое солнце, размытое, цвета соломьы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок. Заколдованный край просыпался.

Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне, Сладко пахло багульником. И все пел и пел, приближаясь к нам, пастуший рожок.

На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы брэнчал на шее медный «болтун».

– Вот это дело! – воскликнул пастух, снял шапку и поклонился, – Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай, каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают.

– Это почему же?

– Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние, Дальше деревень нет на сто километров. Один лес.

– Какая это деревня?

– Называется она по-разному. По-новому – Гришино, а по-старому – Заводской Посад. Тут при государе Петре был железный завод.

Гришино оказалось обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть: в резных наличниках на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над частоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин – то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявой герани, расцветающей из банок ту-

шонки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки.

В конце деревни, в улочке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая, Это была Пра.

Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце, – так всегда бывает, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи – неторопливо, обдуманно, а полную меру сил, Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке.

– Пожалуйте в горницу, – приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались. – Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут, видать, московские, веселые, образованные. Мы с Алешей проходим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок.

В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу и ярко цвели; им было хорошо, должно быть, в этой теплой светлой избе.

– Сейчас Алеша взойдет, он умывается, – сказала женщина. – Двое иху меня, ребят. Алеша да Катя. Алеша – председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике под

Клепиками. Небось проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти.

Мы вспомнили, что и вправду шли ночью во странной упругой дороге.

– Это вата и есть! – засмеялась женщина. – Вам невдомек... А вот и он, мой Алеша.

В горницу вошел юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках навывпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми, медного отлива волосами, потом выпрямилчзя, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные.

Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил, что Алеша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом. Он усмехнулся:

– Возможно. Мы ведь с ним земляки: оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали: «Алеша Есенин».

– А вы любите есенинские стихи?

– Не все. Иные вещи люблю. Например, про «серенький ситец наших северных скромных небес».

Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Софроновым. Потом заговорили о лесах, гришинском колхозе, обо всем этом крае.

– Колхоз у нас богатый, – сказала старуха. – Видали коров? Сытые, молочные. Ярославки. Тут пастбища густые, ме-

доносные. У нас и артель работает. Алеша ее основал. Дуги делают, колеса, бочонки, ульи. Край обильный! Одних грибов сколько! Здесь их не то что собирать – косить можно. Верное слово!

– Да, – заметил Алеша, – край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя.

– А что?

– Да ничего... Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык.

– К такой прелести разве привыкнешь! – тотчас согласилась Алешина мать.

В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в панёве, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком.

– О господи! – запела она плачущим голосом. – Добрым людям гостей бог посылает, а я к тебе, Леша, со своей нудой да бедой.

– Что случилось, бабка Настасья?

– Взял бы ты ремень да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силае, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне, старухе, малого пороть, хоть он мне и внук.

– За что же его пороть? – спросил Алеша и усмехнулся.

– Как за что? Я, милый, законы хорошо-о знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям вспомоществование оказывать? Есть! Даже в песне поется:

«Старики везде у нас в почете». Сама слышала, ей-богу! А он чего делает, Санька! На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо принести, и печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать, и то, и се. Верчение такое, спаси господь! И все я одна. А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока – только я его и видела, вихрастого. Зальется, враг его расшиби, на целый день на выгон, кожаный шар ногами гонять. П кто его только выдумал, тот футбол проклятый! Бьют и бьют о зари до зари, подметки себе начисто поотбивали. Носятся как оглашенные и все не то кричат, не то лают: гол да гол! А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! Нет того, чтобы бабке помочь, а все – гол да гол!

– Это верно, – согласился Алеша. – Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.

– А надясь, как попали шаром по избе, – ой, какой страх! Вся изба затряслась, затрепетала, а кочеток в сенцах как крикнет дурным голосом, как взвьется да головой трах об стреху! Упал, глаза закатил. Я его водой отливала; чуть было не помер в одночасье мой кочеток. Сам посуди: как не испугаться? Тут и человек сомлеет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?

– Не беспокойся.

– Ну, спасибо!

Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе:



– Санька! Подь сюда! Я те покажу, как футболом заниматься, лодырь ты этакий!

Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами, Алеша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли на двести семьдесят третий лесной кордон: места там замечательные.

За Проймы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над полянами.

Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее, сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода – старица Пры, заросшая последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересеченным теплыми полосами света.

Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясное курлыканье журавлей, стук дровосека-дятла.

Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным темным ольшаником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи.

Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остроли-

ста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, – все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб боровик.

Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист осины лежал на этой воде как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни.

Если бы можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу!

Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди.

Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов».

Вокруг скамейки, сколько мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок – так безлюдна была эта дорога. И тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, за неделю пройдут два-три человека. Дорога, судя по карте, терялась километрах в пяти, в чащах за озером Линёвым.

Кордон стоял на бугре над тихой заводью Пры. На крыше его был приколочен дощатый щит с черным номером по белому полю – «273». По этому номеру определялись самолеты, пролетавшие над лесами.

Лесник Алексей Желтов, обветренный старик в выгоревшей зеленой фуражке со значком объездчика на околыше – двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону.

Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим ви-

дом Алексей Желтов (он же «дядя Леша») хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку и что он, как человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся.

Разговор, начавшийся с дядей Лешей, был уже нам знаком – хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан.

Поговорили о засухе, о том, что где-то – надо думать, в стороне Криуши – горит лес, об урожае, новостях из газеты, ярмарке в Клепиках, но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив, – таков был нерушимый обычай в этих местах.

Поговорили, напились воды из родника под сосной, похвалили воду, покурили, и только тогда разговор перешел к главному: можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди Леша и согласится ли его старуха нам готовить?

– Сеновал большой, сена много, живите сколько хотите. Я всегда гостям рад. А вот насчет пропитания – это дело не мое. Надо спросит! мою старуху, бабу Аришу. Уж и не знаю, согласится ай нет. Дело ее, хозяйское. Пожалуйте в избу, там и рассудим.

Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с черным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек! Совсем это немислимое дело! А вдруг она не угодит, как в запрошлый год не угодила лесничему. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и

посмеялся над ней, а она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар – дело пустое. А вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованные, а у нее кулеш хоть и густой, да простой.

На все наши уговоры бабка упрямо отвечала:

– Да уж и не знаю, как быть...

Потом она неожиданно всполошилась:

– А чего ж вы мешки ваши да ружья у порога кинули? Несите в избу. Ты что сидишь? К легкому табаку пристраиваешься? – прикрикнула она на старика. – Вещи подсоби внести. Люди притомились, всю ночь шли. Тебе только бы дорваться до разговору. Поживут у нас подольше – успеешь языком намолотить.

Она начала торопливо вытирать дощатый стол.

– Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите: утреннего или вечернего? Самовар раздую, язей за жарю – старик их нынче поймал. А там видно будет.

Обычай был соблюден, и с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас как о родных детях. Глаза ее светились лаской и волнением, и она все повторяла:

– Господи, три года никто не гостил! Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются! Они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомани всю жизнь просидела. Дочки у меня славные, красивые! И сыны тоже. Сейчас они все в лесу, на обходе. Отцу

помогают. У нас обход бесконечный: одному человеку никак не управиться.

Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу на Шуге, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орса приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясины.

Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей.

Перекрытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа – только следы волков, лосей и птиц.

Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телорежа.

Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны те-

рялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.

Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку.

Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в осеннем небе спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда струится эта река, почти на двести километров только лес, лес и нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смолокуров и тянет по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.

Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окружено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко. Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы.

Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая туманка

еще лежала в низинах.

А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен – золотых, синих, зеленых и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зеленого цвета.

Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.

Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба... Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах – озона и ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей.

Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, вернее всего можно назвать то состояние, которое испытывали все мы, чувством преклонения перед не поддающейся никаким описаниям прелестью родной стороны.

Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств человека.

А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в труде, ясен в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.



Недаром дядя Леша все беспокоился, вздыхал и ждал дождя: уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар.

Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Леша радовался и бормотал:

– Дождик-то! А! Хорош дождик! А то лес как трут: того и гляди, сам загорится!

По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя Леша сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в Клепики к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков.

К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Леша. Мы застали их, смущенных и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой.

Девушки неистово терли мелом и без того ослепительные зубы, а вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях, смуглые, золотоволосые. Даже опущенные ресницы не смогли скрыть блеска их глаз.

Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об «Угрюм-реке» Шишкова (он только что прочел эту книгу), о своей затаенной и уже осуществившейся мечте: он уезжал на днях во Владимир учиться в лесной техникум. А младший молчал, улыбался и тихонько наигрывал на гармонике:

Старинный вальс «Осенний сон»

Играет гармонист...

Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно заманчивого мира, куда они рано или поздно все равно попадут.

Дня через два выяснилось, что дядя Леша с семьей не единственные обитатели этой глухой стороны.

Мы ушли далеко вниз по Пре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они несмело подошли к нам, сказали: «Здравствуйте!» – и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу.

– Ну, как? – шепотом просипел старший мальчик. – Клюет?

– Клюет понемногу.

Мальчики поглядели друг на друга, помолчали, потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга.

– Вы откуда взялись?

– С выселок.

– С каких выселок?

– С Жуковских. Это в лесу. За четыре километра от дяди Леша.

– Сколько же у вас дворов на выселках?

– Два двора и есть.

– А куда вы идете?

– Да к вам.

– Как так к нам?

Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого.

– Ты скажи, – прохрипел старший.

– Нет, ты. Ты старший. А я маленький.

– Как так к нам? – снова спросил я.

– Письмо тебе принесли.

Тайна явно сгущалась.

– От кого?

– От охотника. Тоже московский. Он у нас на выселках живет.

Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом:

«Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад и очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселки на кружку чаю». Подпись была незнакомая.

– Как вы нас здесь нашли?

– По следам. Тут недалеко. Мы километров десять всего к вам и бегли.

– Что ж вы сидели полчаса и молчали? И письма не отдавали?

– А мы заробели, – смело признался старший.

После этих слов мальчишки разом встали и побежали в лес. Младший все оглядывался на бегу и спотыкался.

Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь «летучую мышь».

Ночной туман уже лег на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путем. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю: корни деревьев, траву, темные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры.

Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков.

Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем в пустой черной избе, куда все время старался пролезть из сенцев теленок.

Охотник оказался работником Торфяного института. Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими в эти места за последние несколько лет «Как же было не позвать нас к себе!

Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах

какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный се свет проникал в чащи, где все трубил, печально звал кого-то лось.

На кордоне горел свет в оконце: нас ждали. Дядя Леша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1949 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и тихонько, покачиваясь, напевали:

На прощанье шаль с каймою  
Ты на мне узлом стяни.  
Как концы ее, с тобою  
Мы сходились в эти дни...

Я проанулся на сеновале поздней ночью. Луна зашла. Сквозь щели в тесовой крыше светились звезды. Далеко, казалось на конце земли, подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в теплое сено, слушать звуки этой ночи, представлять себе это полесье, темные дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только. Дотлевают в тумане угли костра.

Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Ржавые листья слетали на землю. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей.